

Юрий

Полминов

## НЕЗАМЕНИМЫЕ

## ТАКАЯ ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ

## I

Мою бабушку по отцу звали Мария Петровна. Родилась она ещё в девятнадцатом веке, запомнила название деревни – Новое Красивое Село на речке Меч (на самом деле река называется Красивая Меча) в Ефремовском уезде Тульской губернии. Так что, вполне возможно, в детстве она могла видеть самого Льва Толстого... Мне, во всяком случае, всегда хотелось в это верить.

С Ефремовым так или иначе связаны имена Л. Н. Толстого, И. А. Бунина, И. С. Тургенева, К. Г. Паустовского, которые бывали в нём или жили. Бывали здесь и А. С. Пушкин, А. С. Грибоедов, М. Ю. Лермонтов. Недалеко от Ефремова на Куликовом поле сходились в бою в стародавние времена воинства Дмитрия Донского и хана Мамай. А я, к своему стыду, так и не наведался на родину бабушки, хотя такая возможность была.

Удивительными были её рассказы о трагических смертях детей, в которых почти не звучало трагических ноток. Было ощущение, что она видит их всех живыми и вспоминает не горестно, а светло, с подробностями и деталями характеров, внешности. Никогда при этом не плакала. Иногда казалось, что ей и слушатели не нужны – она как будто сама себе это рассказывала.

После смерти одного из сыновей, чтобы заглушить боль, начала даже курить. И когда я в студентах, навещая её, закуривал дефицитные в ту пору «Казахстанские», она иногда просила и ей дать: «У тебя папироски сладкие...» Так она называла сигареты. Но курила редко.

Чай пила и чёрный, и по-казахски, с молоком, и по-калмыцки, с солью и топлёным маслом, добавляя их в чай. К последнему приохотили её депортированные в их деревню во время Великой Отечественной войны калмыки.

В начале двадцатого века, в пору великого переселения, бабушка вместе с родителями оказалась в Сибири. Её память хорошо сохранила это время, а более всего то, как она девочкой жила в услужении у купцов Красноусовых. О тех годах бабушка всегда вспоминала едва ли не благоговейно – похоже, то была самая счастливая пора в её недолгом отрочестве. Хотя, насколько я теперь могу судить по её стародавним рассказам, в той «красивой» жизни хватало всякого. Обязанностей было много, одна из самых неприятных – сеять муку. Красноусова требовала, чтобы это



делалось на самом мелком сите, муки надо было много, а рабочее место – холодные сенцы... В студёные зимы девчоночьи руки, по бабушкиному определению, «заходились» и отказывались держать сито. Она пыталась хитрить, меняя сито на более крупное, но тут же была поймана. «Ах ты, дрянь паршивая», – всякий раз говаривала хозяйка, будучи сильно недовольна прислугой. Но зато никогда не била, непременно подчёркивала бабушка, давая понять, что недовольство было заслуженным, и всегда вспоминала о подарках, которыми Красноусовы одаривали её на рождество – о цветастом полушалке, поношенной кофточке, кулёчке конфет, связке баранок...

В 16 лет бабушку выдали замуж, и службу пришлось оставить – Красноусовы держали в прислугах только девочек и незамужних девиц.

Революция, как таковая, в бабушкиной памяти не сохранилась (на все мои расспросы по этой части она отвечала «не знаю» и всякий раз пыталась уточнять: «Это когда царь Николай отрётся?»). Зато ей хорошо запомнилась гражданская война и приход анненковцев (она говорила «анненков отряд»). Всех сочувствующих советской власти анненковцы вывели в лес за деревню, изрубили шашками и, распоров им животы, набили зерном – ешьте, краснопузые... Моего деда, впоследствии секретаря здешнего Совета, среди казнённых, к счастью, не оказалось – бабушке чудом удалось его спрятать в заброшенном колодце... Еду ему она, таясь от всех, носила по ночам. Через какое-то время родился мой будущий отец. Атамана Анненкова, чьи отряды творили немыслимые зверства, вернут из Китая, будут судить в Семипалатинске и расстреляют в 1927 году.

Коллективизация навсегда впечаталась в бабушкину память незамысловатой деревенской частушкой:

Иванов, Иванов,  
Как твои делишки?  
Отобрал у нас коров –  
Плачут ребятишки!

Иванов был сподвижник деда – организатор первого колхоза, обобществивший весь деревенский скот. Ну, а плакали в ту пору по этому поводу, как мы теперь хорошо знаем, не только ребятишки.

У деда с бабушкой уже ко времени анненковского рейда было двое детей. Потом родятся ещё двенадцать. И всё это время будут уходить из жизни – в младенчестве, детстве и совсем взрослыми. Маленьких косили корь, скарлатина и другие болезни, а над взрослыми будто злой рок витал...

Дочь Сару в неполных четырнадцать лет задавила грузовая машина – одна-единственная на всю округу. Она села в кузов покататься с другими ребятишками, выпала и попала под колеса.

Сыну Сергею шел девятнадцатый год. Он был красавец, спортсмен. Вся деревня сбегалась смотреть, как Сергей «крутит солнце» на турнике. Однажды сорвался, ударился головой о стылую землю. Отлежался, думали – обошлось... А он заболел в дороге. Сняли с поезда на одной из станций. Там он и умер в больнице, не приходя в сознание. Где похоронен – неизвестно... Оплакивая его, бабушка уходила в лес, чтобы никто не видел и не слышал, и криком кричала, пока оставались силы и голос.

Сын Никита был глухонемой. Любимец всей деревни, добрая душа, лучший работник в колхозе. Зарезали корову, начали подтягивать её к перекладине, что-

бы освежевать. Перекладина переломилась, а Никита оказался прямо под ней... Стал жаловаться на ушибленную голову, потом слег. Как-то бабушка с дедом собрались, ещё затемно, на базар и объясняют ему это на пальцах. Он в ответ показывает: возвращайтесь быстрее, а то я умру сегодня – как солнце встанет. И в самом деле – на рассвете умер. В 27 лет.

Сын Фёдор был на год младше Никиты, уже женат. Молотили зимой пшеницу. Фёдор работал наверху, развязывал снопы, подавал их в молотилку. Его нечаянно толкнули, и он упал – головой вниз. Болел, продолжал работать. Однажды совсем занемог – даже к завтраку не встал. Пришёл бригадир звать его на работу, он попытался подняться и не смог... В тот же день скончался.

Сын Виктор в 27 лет утонул в озере Чаны. Вот как это было. Они – несколько молодых мужиков – переходили озеро по неокрепшему льду. Поднялся ветер и стал ломать лёд. «Чан взвернуло», – говорили очевидцы. Мужики уже подходили к берегу. Виктор почти добежал, когда услышал крик из полыньи: «Не бросай, брат!» Вернулся. Протянул товарищу ружьё, вытащил его на лёд. Тот снова провалился, увлек за собой Виктора и уже не дал выбраться... утонули оба. На берегу всё это наблюдали человек двадцать, но помочь ничем не могли. Виктор с товарищем утонул в конце октября, а нашли его только в мае. Он, на удивление, хорошо сохранился, а бабушка одно время в эту пору начала заговариваться.

Бабушка пережила и оплакала тринадцать из четырнадцати своих детей. И ещё мужа, без которого она прожила больше сорока лет. Последним бабушка хоронила моего отца, единственного из её детей, прошедшего войну и вернувшегося после победы живым и всего лишь контуженным... Мужчин его года рождения осталось в живых после победы всего лишь три процента. Так что у меня было не так уж много шансов родиться... А бабушку пережила лишь её младшая дочь, моя тетка, которую бабушка родила в 46 лет.

## II

У меня с бабушкой сложились особые отношения. Мне теперь трудно судить, почему так вышло, но факт остаётся фактом: чуть ли не с младенческого возраста она всюду таскала меня за собой. Всегда много ездила, и я побывал вместе с ней на некогда знаменитом Купинском базаре, где она в молодости торговала своей несравненной чубаровской ряженкой; цепenea от страха, катался на моторке с каким-то её родственником по неоглядному озеру Чаны; вместе с ней совершил первое в жизни далекое путешествие по железной дороге в Красноярск, а оттуда – в Дивногорск, где буквально в двухстах-трёхстах метрах от её комнаты в обычном городском доме начиналась дикая тайга – с настоящим буреломом, цветами-жарками и черемшой, чем-то напоминавшей наш дикий чеснок... Там же увидел знаменитую на весь Союз Красноярскую гидроэлектростанцию.

Жаль, что воспоминания о тех поездках сохранились бессвязные, отрывочные. Куда лучше помнятся наши хождения за грибами... Уже тогда моторизованные грибники устремлялись за ними как можно дальше, а бабушка, наоборот, промышляла только в окрестных лесах. Бывало, отогнав в стадо корову, часам к шести утра она возвращалась домой с грибной добычей в завязанном сверху узлом переднике, и я просыпался уже под неповторимый аромат грибной похлебки.

Мне хорошо известно, что сегодняшней грибник привередлив: ему подавай непременно белые, подосиновики, грузди. А бабушка уважала гриб всякий. Она

не брезговала почти сплошь ныне презируемыми хрупкими сыроежками, именуя их краснушками, синюшками и чернушками, – в зависимости от того, какой цвет преобладал на шляпке. Волнушки она звала волвёшками. Валуи, в зависимости от «сорта», слюнявыми (их жёлтые, бледно-розовые или коричневатые шляпки были покрыты слизью) либо скрипицами (определение удивительно точное – не только крепкая ножка упруго скрипела при срезании, но потом скрипел и сам гриб, когда его раскусываешь в готовом виде). Одну из разновидностей сухих степных груздей бабушка называла белянками. Они и впрямь были изумительно белыми, а отдельные экземпляры – даже с легкой голубизной, которая, впрочем, несколько не портила вид гриба, скорее придавала ему особое очарование. Найдя первую белянку средних размеров, бабушка разрешила ножку на несколько колец и, бережно уложив шляпку в ведро, кольца беспечно отправляла в рот.

– Ты что, отравишься! – испугался я, увидев подобное впервые.

– Как же, – засмеялась она и отломилла мне кусочек, – попробуй лучше!

Я с опаской попробовал – и тут же выплюнул: сырой гриб мне решительно не нравился. Но бабушка, впрочем, и не настаивала.

Подберёзовики у бабушки были обабками, шампиньоны – их мы собирали прямо в поле через два-три дня после дождя – печерицами. Нечасто, но попался и влажно тяжёлый изжелта-бледный, реже молочно-восковой, ворсистый, настоящий, или сырой груздь... Бабушка почему-то говорила «грузд» (без мягкого знака) и начинала священнодействовать: сразу не рвала, ставила ведро, начинала оглядываться... Мы с ней тщательно исследовали всё пространство вокруг, особенно бугорки под приподнявшимися прошлогодними листьями, и чаще всего находили ещё три-четыре груздочка, а если улыбалась удача – то и с десятков...

Не всякий червивый гриб бабушка выбрасывала. Очень часто, обнаружив единственную норку, оставленную в корне или шляпке нашим расторопным конкурентом, бабушка как-то очень ловко вырезала испорченные фрагменты, а оставшуюся часть гриба забирала. Иногда виновник этой хирургической операции, бледно-розовый червячок с красной головкой, обнаруживался сам. Бабушка небрежно выковыривала его, а гриб брала, объясняя:

– Ничего, это косяничник – он не вредный.

...Через час-полтора с полным ведром, а если повезёт – то и с довеском – узелком из передника, отправляемся домой. Тут всякому грибу находится применение: сыроежки пойдут на суп, обабки будут изжарены, а их корни отправятся на сушку; белые (они у нас водились не каждый год, а бабушка их называла попáми – наверное, за стать, особую осанку) годятся и на суп, и на жарёху, и на сушку, и на маринад; ну, а уж грузди после первой очистки будут отмокать в воде – потом мыться и чиститься, а потом долго-долго томиться в рассоле под гнётом...

Немного походил я с бабушкой за грибами, а страсть к этому тихому промыслу сохранилась на всю жизнь. И меня, давно городского жителя, не удержать дома, едва только промелькнёт слух о том, что кто-то где-то видел, а тем более рвал первые грибы.

### III

Бабушка была верующей. Она знала все главные православные праздники, всегда постилась, на Пасху обязательно пекла куличи и красила яйца. Носила простенький крестик, была у неё и икона. Я одно время всё допытывался у неё:

как это понять – Христос воскрес. Она, как могла, объясняла: нехорошие люди распяли его на кресте (подробности распятия она упускала и, понимаю теперь, не случайно). А как пришло время его хоронить – он оказался живой и показал пришедшим крашеное яичко – отсюда, мол, и обычай – яйца красить.

Впрочем, находясь в нашей сугубо атеистической семье, бабушка никогда не делала никаких попыток приобщить нас, своих внуков, к Богу. Наверное, понимала всю бесперспективность этого занятия. И покрестились мы уже после её кончины.

Бабушка была неграмотной. Учиться ей вовсе не довелось, и она с трудом печатными буквами могла написать свою фамилию. Письма бабушкиным родным писал за неё я. Она говорила, а я записывал, и поскольку бабушка излагала

своё житьё-бытьё неспешно, обстоятельно, я (каюсь теперь!) хитрил, спрямляя изложение части событий, сокращая по ходу письма приветы её многочисленной родне. Теперь я уже не в силах воспроизвести бабушкину речь. Но как же хорошо она говорила! Она говорила – как пела. Это был чистый, живой, не замусоренный никакими суррогатами и заимствованиями язык, какого теперь почти не встретишь.

Мне не раз приходилось видеть бабушку рассерженной, но никогда не слышал из её уст ругани (хотя её муж и мой дед, Пётр Петрович, которого я совсем не помню, наоборот, был матершинником). И когда живущая

по соседству женщина «заводилась» на пьяного мужа: «И чтоб тебя три грозы гремучих разбило! И чтоб тебя какая-нибудь корючка закорючила! И чтоб ты издох...» – бабушка просто пугалась – по её понятиям это значило гневить Бога. Крайнюю степень недовольства у неё самой выражала фраза, которую мне ни от кого больше слышать не доводилось...

– Кишки-т-твои перемотайся!

Или – реже:

– Кишки-т-твои лопни!

Но ни первое, ни второе, как правило, никому конкретно не адресовалось, а носило отвлечённый характер.

Бабушка знала не только свою ближайшую, но и всю дальнюю родню: кто кем кому доводился, кто на ком женат и кто за кем замужем. Было в высшей степени любопытно слушать, как они изъяснялись с моим отцом, называя подчас диковинные, ничего мне не говорящие фамилии, связанные, тем не менее, в некую стройную систему. Чаще всего упоминались Поминовы, Дроздовы, Чурсины. Но были ещё Чубаровы, Даничкины, Кострикины, Шукайловы и великое множество других... Звучали названия деревень, ласкающие слух: Чубаровка, Лягуши, Сергеевка, Мальково, Чумашки... Путешествия отца с бабушкой по густым ветвям нашего генеалогического дерева, как правило, заканчивались разладом: на каком-то этапе оказывалось, что кто-то из них кого-то забыл, что-то напутал, и им приходилось возвращаться в исходную точку...



Когда бабушка вела долгий рассказ, она время от времени делала недлинные паузы, сопровождая их характерным «да-а». А если касалась какой-то очень большой темы, заканчивала неизменным «и-эх-жизнь!» и надолго замолкала, отрешённо глядя в одну точку. Когда я, особенно в далёком детстве, чем-то приятно удивлял, радовал бабушку, она всплёрскивала руками и восклицала: «Господи ты мой! Милай-сливай!» Я не задумывался о смысле последних слов: думал – это у неё прибаутка такая, и лишь спустя годы понял – так она произносила слово «милостивый».

Её руки умели всё на свете. Она пряла, вязала и шила. Долгими зимними вечерами я любил сидеть на скамеечке у её уютно, с переливами жужжащей прялки и наблюдать простой и одновременно непостижимый процесс превращения бесформенных клочков шерсти из кудели в прочную шерстяную нитку, которая несколько дней спустя становилась уже моими носками или варежками. Я до сих пор помню её тончайшие, как кружева, таявшие во рту блины. Она умудрялась испечь хлеб в нашей отнюдь не приспособленной для этого дела домашней печке. Она учила меня лепить пельмени с фигурной бахромой... Она делала ароматную, густую, с коричневатой пенкой – вкуснейшую ряженку.



Чубаровская ряженка – так грубовато-нежно поддразнивал бабушку мой отец. И все мы знали, что он имеет в виду. Именно так когда-то зывала бабушка покупателей на базаре в Купино, где торговала ряженкой. И этот её чубаровский (по названию деревни) товар всегда пользовался спросом и разбирался очень быстро. Случалось, продав свою ряженку, бабушка выручала соседей, выдавая их продукт за собственный.

Поразительно, что люди это до сих пор помнят. Недавно разговорился со своей городской знакомой. Вдруг оказалось – мы земляки, а сама она из Купино. «Ну, а мои родители из деревни по соседству, – сказал я, – из Михайловки». «Так это теперь Михайловка, а раньше называлась Чубаровка, – возразила она, – её жители торговали у нас на базаре ряженкой, так помню и кричали – чубаровская ряженка, чубаровская ряженка!»

...Нет теперь ни ряженки, ни того базара. Да и сама Чубаровка, то бишь Михайловка, дышит на ладан...

#### IV

До 96 лет бабушка жила одна, в своей избушке, сама управлялась по хозяйству. Моя городская квартира, где она провела последние годы жизни, откровенно тяготила её. Но она крепилась, не показывала вида. Успела покачать младшего правнука, моего сына, родившегося в 1987 году. За столом, когда я подкладывал ей хлеб помягче, отодвигала его, говоря: «Я, внучек, и скорки люблю», – то есть корки, которые жевала дёснами, оставшись без единого зуба.

Пережив всех своих сверстников, она до последних дней сохраняла ясный ум, острую память и поразительный интерес к жизни. Не изменяла своим привычкам: нюхала табак и требовала на рождество рюмку водки вместо предлагаемого ей фужера вина. Получала пенсию по утере кормильца – утонувшего сына, что-то около 14 рублей, выросших в позднесоветские времена почти до 30 рублей. И когда я забирал её к себе, передала 400 сэкономленных каким-то образом «гробовых» рублей.

Умерла бабушка 14 декабря 1998 года, лишь несколько недель не дожив до 98 лет и не доставив нам, её родным, почти никаких хлопот.

## ДЕД ТИМОФЕЙ И БАБУШКА АКУЛИНА

Хорошо помню деда с бабушкой по материнской линии. Дед Тимофей – высокий, кряжистый, строгий. Бабушка Акулина – маленькая, хрупкая, добрейшая душа.

В их молодости бабушку не хотели отдавать за деда. Выдали за другого, из соседней деревни. С мужем бабушке не повезло – он обижал её, без повода ревновал. Однажды в приступе ревности привязал, беременную, к оглобле и рысью погнал лошадь. Была зима, бабушка обморозила колени, а через несколько дней родила мёртвого недоношенного ребёнка.

Родня забрала её к себе. Наш дед сказал своему отцу, что хочет взять её в жёны, но тот почему-то не разрешал. Тогда упёрся «жених» – пять лет не женился, пока наконец не добился своего.



Всё это я знаю со слов матери, благодаря которой выжили, когда деда мобилизовали в армию, и бабушка, и трое материных сестёр. Мать была старшей и в 14 лет пошла в колхозную бригаду поварихой. Семья их в ту пору обнищала до крайности.

Когда вернулся дед (никто не знал – жив ли он или погиб), бабушка упала в обморок. Остальные будто онемели. Дед спрашивает мою будущую мать: «Что же ты, дочка, ничего не говоришь?» А она никак не может в себя прийти. «Вот, – отвечает, – на базар собралась в Купино – фуфайку покупать, денег 1200 рублей скопили...» – «На, – говорит дед, – возьми мою...» Он в фуфайке пришёл.

Такая была встреча. Служил дед на Дальнем Востоке и единственное, что привёз с собой, – чемодан китайского шёлка. По тем временам дорогой товар, который можно было выгодно продать. Но бабушка на радостях нашла из него дочерям платьев. Очень красивых платьев, которые через несколько недель «полезли» – дорогой шёлк совсем не годился для повседневной носки.

Мать считает, что этот случай, как никакой другой, характеризует и деда, и бабушку, не сумевших распорядиться даже этим единственным богатством, попавшим в их руки. Иногда она в сердцах называла деда с бабушкой неudelьными, то есть людьми, лишёнными практической сметки, или, в нашем привычном

понимании, – не умеющими жить... Впрочем, это не мешало матери относиться к своим родителям с величайшим уважением и почитать их до самой смерти.

Судя по рассказам матери, жили дед с бабушкой тихо, незаметно. Никогда не скандалили. Тут, скорее всего, бабушкина заслуга – она ни в чём не перечила деду, позволяя себе лишь изредка незаметно посмеиваться над ним. Правда, и он её не обижал. Однако случалось, возвратясь домой изрядно навеселе, будил среди ночи: «Вставай, Акульк!» – «Ну чего тебе?!» – «А давай песни поиграем!» Значит, надо было вставать и петь с ним, что она и делала, вероятно, ругая при этом деда в душе последними словами. Пели же чаще всего любимого дедом «Хасбулата удалого». Сам он, будучи трезвым, никогда не пел.

У деда с бабушкой, в небольшой – в одну длинную улицу – сибирской деревне Чубаровке я проводил каждое лето. И память хорошо сохранила их всегда чисто выбеленную избушку с плоской пластью крышей и глиняным полом (раз в неделю бабушка его обязательно мазала); наполовину вросшую в землю крошечную баньку; ветхий плетёный сарай с крутобокой коровой и обязательным ласточкиным гнездом на столбе, державшем крышу сарая; нежнейшую траву-мураву, расстилавшуюся от самого порога, и огород с цветущей картошкой, сбегаящий вниз, к пересыхающему озеру...

Помню немудреные бабушкины угощения, вкусный терпкий запах дедова самосада – он сам растил табак, рубил в деревянном корыте, сушил.

Помню, как басовито, тревожно и гулко гудели провода в Чубаровке, когда приложишь ухо к высушенному до звона, нагретому солнцем столбу.

Помню посвист любопытствующих сусликов и то, как смешно, подбрасывая зады, они улепетывали к себе в нору.

Помню развалины старых саманных домов – где-то на задворках единственной Чубаровской улицы. Меня почему-то тянуло к этим полуразрушенным, заросшим травой саманушкам. В их щелястых выветренных стенах селились воробьи и трясогузки, они очень тревожились из-за каждого моего прихода.

Хорошо было у деда с бабушкой. Но я всё равно скучал по дому. Я находил открытое место и часами смотрел – не идёт ли в сторону Чубаровки с Хомичевой гривы машина. Машины шли редко – и всё мимо...

Мне кажется, то были не худшие годы для деда с бабушкой. Дети выросли, худо-бедно определились, вот уже и внуки наезжают на лето. Наверное, мы им, оставшимся вдруг вдвоем, нужны были в ту пору не меньше, чем они нам... Но и мы вырастали и всё реже навевывались к ним, не понимая, как дорог им каждый такой приезд...

Дед, уже выйдя на сиротскую пенсию, занимался летом в совхозе чистить кошары. Овцы натапывали в них за несколько лет прослойку едва ли не в четверть метра, и надо было убирать этот плотно слежавшийся пласт. Что он и делал, метр за метром отковыривая вилами тяжеленные куски, похожие на кирпичи, и укладывая на телегу. Никто другой не брался за эту работу, а деду иногда помогал сын Николай, приезжавший в деревню на летние каникулы.

Бабушка умерла первой. Умирала в страшных муках – последние несколько месяцев не вставала с постели, плакала, просила, чтобы мать отравила её – избавила от мучений... Как всё же несправедлива бывает судьба к человеку: в своей жизни бабушка видела очень мало хорошего – неужели она хотя бы легкой смертью не заслужила?

Оставшись один, дед не захотел пойти ни к кому из детей. Жил сам. Утром выходил из дома, садился на завалинку, встречая и провожая всех проходивших мимо. С кем-то перебрасывался одной-двумя фразами, с кем-то просто здоровался. Ему этого было достаточно – он был у себя дома, на своей земле.

В последний раз мы навещали деда Тимофея втроём: старший брат Шурка, я и младший, Петька.

Строговатый, не очень ласковый дед, не привыкший выставлять напоказ свои чувства, был искренне рад нашему приезду. И не скрывал этого – наверное, чувствовал, что больше с нами тремя ему вряд ли доведется побывать.

Иногда, желая обратиться к одному из нас, он окликал другого, но поправляясь, снова ошибался и тогда у него выходило:

– Шурк-Юрк-Петьк!

Он смеялся:

– Совсем запутался с вами...

И мы смеялись: нам очень нравилось это наше тройное имя.

...А хоронить деда из нас троих довелось одному Петьке...

## МАТЬ

Хочу рассказать о матери. Это непростая задача. О своём детстве мать вспоминать не любила из-за его беспросветности. Помню, она всегда спорила со свекровью, моей бабушкой, когда та начинала говорить, что «старая жизнь» была хорошая. Тут, наверное, дело в том, что родственники по материнской линии – Чурсины – всегда жили беднее отцовых – Поминовых. И ещё в том, что бабушкина юность пришлась на дореволюционную пору, когда крестьяне-переселенцы из Центральной России успели хлебнуть вольной жизни в Сибири после Столыпинской реформы. А мать родилась уже в пору коллективизации – то было время великого перелома со всеми его прелестями. К тому же её отец, мой дед Тимофей, по наставлению своего отца, моего прадеда Алексея, которого я чуть-чуть помню, колхозную идею не принял, остался единоличником. Приличного хозяйства деду, разумеется, создать не удалось (кому это в то время удавалось?), жили Чурсины (а по-деревенскому Красновы) беднее бедного, из нужды не выбирались.

Валенки были в семье одни на всех. И мать, старшая из четырёх сестёр, собираясь изредка зимой к подружкам на вечерку, одевала вместо них дедовы лохмашки – что-то вроде рукавиц из собачьей кожи...

Отцов брат Михаил, сам познавший беспросветную нужду и единственный из родни «выбившийся в люди» (служил в соседнем Алтайском крае в милиции), решил во что бы то ни стало избавить от этой жизни племянницу. Около года мать прожила в его немногочисленной семье в Славгороде, училась в школе. Жилось ей тут не слишком сладко (не жаловала тетка), но посытнее, чем дома. Запомнила, как приезжал её дед, отцов отец Алексей – с коровой, чтобы подкормить внучку. Мать пасла ее в посадках вдоль железной дороги.

Может быть, и прижилась бы тут, но началась война, и вскоре после того, как дядю Михаила призвали, тетка, сославшись на то, что одной ей племянницу содержать будет трудно, отправила мать домой.

Так и закончилось ее недолгое (до 7 класса) учение, а вместе с ним и мечта о «другой» жизни.

Летом 1942 года, в сенокос, привезли повестки семнадцати чубаровским мужикам, в том числе и деду. Это были последние мужчины в деревне – до этого в 1938 году забрали их сразу человек пятнадцать. Ночью. Взяли даже деревенского дурачка Федю Попова. Он имел обыкновение, забравшись на крышу, кричать: «Мужики, японцы идут!» Может, за то и пострадал. Что с арестованными стало, никто не знает: ни писем, никаких других вестей от них не поступало. И ни один обратно не вернулся...

Любопытная деталь: повестки деревенским мужикам привезли ближе к обеду, а вручили только вечером. Они работали на покосе, и нельзя было допустить, чтобы полдня у них пропало. Всё продумали: ночь – на провода, а утром – в военкомат...

Из тех мужиков после войны тоже мало кто вернулся. Деду Тимофею повезло по одной-единственной причине – из-за слабого здоровья в действующую армию не попал – всю войну пробыл на Дальнем Востоке, при лошадях. Но родным от этого было не легче – писать дед не умел, письма приходили редко (в лучшем случае два-три раза в год), думали, что сгинул...

Выжила вся семья благодаря моей матери. Она, оставив учёбу, пошла работать в колхозную бригаду поварихой. Готовила на 60 человек. Одна. Уматывалась – едва с ног не валилась. Зато тут и хлеб был. Сама ела, да когда-никогда бригадир сунет буханку: «Бери, Тоньк, своим...» Знал – голодают, и она брала, потому что «свои» хлеба почти всю войну не видели: бабушка была не работница, всё болела, а три сестры – мал мала меньше... Еще, случалось, прихватывала зерна в карманах... Это считалось смертным грехом: как раз в ту пору двум колхозным девчонкам, чуть постарше матери, дали – одной восемь, другой – десять лет. Счет был простой: по году за каждый килограмм... Бабушка плакала: «Поймают тебя – повешусь...» Бог миловал...



Мать Антонина Поминова (справа) с подругой

Сама кормилица уработывалась так, что, придя раз в неделю домой, чтобы помыться и переодеться, засыпала за столом. Главной едой была картошка, которая в войну, как назло, не родилась – горох и горох... Варили ее чаще всего в «мундире». Чтобы быстрее накормить мать, младшие сестры Нинка с Катькой помогали ей чистить эту картошку: они чистили, а она ела, тут же засыпая... Любопытно, что одна из сестер – Нина – до своей кончины звала мать нянькой – как в детстве...

Потом и война кончилась, дед вернулся, а жизнь лучше не становилась. Заболела вторая после матери по возрасту сестра – Зоя. Лечили от сердца, а оказалось туберкулез. Пока дошла очередь на рентген (год стояли!), было уже поздно – в легких образовались огромные каверны. Ей требовалось хорошее питание. Дед, бывало, проработав день, по всей ночи охотился неподалеку от деревни на Кегеевом озере... Иногда приносил чирка, реже крякву, а зачастую приходил ни

с чем. Младший из детей, единственный сын Николай, родившийся после войны, доглядывал за больной сестрой утиные косточки. Бабушка плакала, боялась, что и он заразится, но кормить последыша тоже было нечем...

Когда Зоя умерла, поминальный обед по бедности сделали из бараньих голов, и мать с тех пор долго их видеть не могла. Даже в традиционном казахском бешбармаке... Потом привыкла и ела.

Николай же вырос на загляденье, один из всей семьи выучился. Вот только жил далеко, за Полярным кругом, визитами да письмами сестер не баловал.

Словом, матери было отчего не любить и свое детское, и свое девичье прошлое – так мало было там хорошего...

Не удавалось выбиться из нужды и в первые годы после замужества. В поисках лучшей доли мой отец много раз менял место работы и жительства. Пошли дети, а своего угла у семьи всё еще не было...

Наша старшая сестра Люба умерла, не дожив до двух лет. По материному выражению, «её скарлатина задавила». Жили так бедно, что хоронить девочку оказалось не в чем. Тогда взяли наволочку с подушки, бабушка (отцова мать) распоролла её и сшила из белой материи платьице. Но покойницу надо было ещё и чем-то укрыть. И тогда взяли занавеску. Это были обычные бинты, скреплённые между собой нитками (в целях экономии материала и для того, чтобы придать занавескам «эстетичный» вид). Из занавески и сшили смертное покрывало. Потом, правда, кто-то из родни принёс платок – ещё и им накрыли...

Если и есть у матери какие-то светлые воспоминания, то они чаще всего связаны с её дедом (моим прадедом) Алексеем. Он любил мать, выделяя её из других внучек, жалел. В трудные минуты жизни защищал и поддерживал. Я его, кстати, немного помню – небольшой, иссушенный годами, седой как лунь... Он совсем немного не дожил до ста лет. В последние годы сильно ослабел, но не пропускал ни одной бани, куда его водил сын, мой дед Тимофей, и парил...

Дед Алексей поболел перед смертью дня три. Сказал дочери, у которой жил: «Полька, ты сбегай за Тимошкой, я сейчас помирать буду...» – «Да ты что, папашка?» (так она его звала) – «Беги быстрее, а то не успеешь...» Она – к деду Тимофею. Пришли, а их отец и вправду умер.

Потом и сама тётка Полька умерла. К ней мать тоже до последних дней испытывала чувство благодарности и очень переживала, что не смогла похоронить. Та ей наказывала: «Ты, Тоньк, смотри, приезжай меня хоронить, а то по мне и поплакать-то некому будет...» Мать обещала, но не смогла и сильно из-за этого горевала...

Свой дом мать с отцом заимели, уже нажив нас троих, на целине. Это был не слишком просторный камышитовый дом из трёх комнат, в котором все мы выросли. Теперь его нет, даже развалин. А вся наша бывшая усадьба заросла молодым клёном и сорными травами мне по пояс и выше.

Мать, пока мы были малы, сидела дома. Потом начала работать – как-то надо было сводить концы с концами. С группой других совхозных женщин она выполняла разные хозяйственные работы. То есть они были разнорабочими: летом пололи картошку, ухаживали за садом, чистили и ремонтировали животноводческие помещения, осенью перелопачивали зерно на току. Зимой самой «выгодной» работой была разгрузка вагонов с углем. Вагоны приходили на ближайшую от совхоза железнодорожную станцию Мынкуль, и четверо

женщин уезжали туда на целый день. Это была адова работа, на которой не всякий мужик выдержит, а некоторые женщины (и мать в том числе) за неё охотно брались – тут были самые высокие расценки, и за каждый разгруженный пятидесятитонный вагон им начисляли по шесть рублей 40 копеек – почти трёхдневный обычный заработок...

Как-то зимой не пришла на станцию машина, чтобы увезти их обратно. И они вчетвером – у всех были маленькие дети – рискнули пойти пешком. 15 километров – не так уж много, им приходилось одолеваять и больше. Но они не учли того, что целый день работали, что было минус тридцать, и что ветер, как всегда в подобных ситуациях, оказался навстречу... Уже к середине пути они поняли, что могут не дойти... Но поворачивать обратно было поздно. И они пошли дальше, плача на морозе от бессилия. Они шли, держась за руки и не давая друг другу упасть, и всё-таки дошли – уже под утро...

Полегче матери стало много позже: она выучилась на ветеринарного санитаря и одно время даже исполняла обязанности ветеринарного техника. Хотя это тоже была работа без выходных, без проходных: днем и ночью к ней домой шли, как к Айболиту, – у кого-то заболела корова, у кого-то свинья, у кого-то лошадь, а мать никому не отказывала.

Когда мать вышла на пенсию, мне стоило больших трудов уговорить ее перебраться к нам в город. Первое время она скучала, плакала, готова была вернуться. Потом привыкла.

Со временем в Павлодаре образовалась целая колония бывших совхозных жителей. Они регулярно созванивались, обменивались новостями, старались быть вместе и в радости, и в горе. Его мать тоже хлебнула на старости лет, пережив сына, моего старшего брата, и дочь, мою сестру.

Что же касается нашей семьи, то мать была душой её. И к этому вряд ли что-то надо добавлять. Разве то, что не стало её в 88 лет.

